

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ П. А. ФЛОРЕНСКОГО

Павел Александрович Флоренский [1882—1937 (?) — замечательный русский ученый-энциклопедист, математик, специалист по электротехнике и материаловедению, искусствовед, филолог, философ, богослов, священник, поэт. П. А. Флоренский еще в детстве под влиянием отца увлекается естественными науками, особенно геологией, где его заинтересовывает проблема времени (о чем он говорит в своих воспоминаниях [1]). В 1900 г. П. А. Флоренский поступает на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета, где учится у Н. В. Бугаева и под его влиянием увлекается проблемами дискретной математики [2], тогда только еще создававшейся. Математическим и философским вопросам прерывности была посвящена его диссертация [3], над которой он работал в 1900—1904 гг. В 1904 г. Флоренский заканчивает университет, написав кандидатское сочинение об особенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности, после чего поступает в Московскую Духовную академию, где учится в 1904—1908 гг. В 1906 г. за слово «Вопль крови» о казни лейтенанта Шмидта Флоренский арестован и заключен на короткое время в тюрьму. В 1908 г. Флоренский начинает преподавать на кафедре истории философии в Московской Духовной академии [4], в 1911 г. он рукоположен в священники, в 1912—1917 гг. состоит редактором «Богословского вестника», где печатается ряд его статей, в том числе и филологического по преимуществу содержания. В 1914 г. он защищает магистерскую диссертацию «Стоп и утверждение истины». С 1918 г. Флоренский работает ученым секретарем Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. С 1919 г. он работает также на заводе «Карболит», где занимается изготовлением пластмасс, в 1921 г. переходит на работу в систему Главлэктро ВСНХ. В 1922—1924 гг. состоит профессором ВХУТЕМАСа (Высших государственных художественно-технических мастерских) на кафедре Анализа пространственности в художественных произведениях, где читает соответствующий курс, частично изданный [5—7]. В 1922 г. выходит книга Флоренского «Мнимости в геометрии» [8], где он опубликовал также и план большой философской работы «У водоразделов мысли», отдельные части которой увидели свет лишь в самые последние годы (ср. [9]). С 1927 г. Флоренский — редактор «Технической энциклопедии».

В 1928 г. Флоренский был сослан в Нижний Новгород, откуда его удалось вернуть в 1929 г. благодаря заступничеству руководительницы Политического Красного Креста Е. П. Пешковой (жены М. Горького). В 1930 г. Флоренский становится помощником по научной части директора Государственного экспериментального электротехнического инсти-

тута. В феврале 1933 г. арестован, в июне осужден на 10 лет лагерей и отправлен в Сибирь, где Флоренскому, продолжающему в труднейших условиях занятия разными науками, удается собрать и материал по ороческому языку для ороческо-русского словаря. В 1935 г. переведен в Соловки, в 1937 г. П. А. Флоренский лишен права переписки и, по-видимому, тогда же расстрелян. В 1958 г. реабилитирован. В 1969—1988 гг. посмертно опубликовано значительное число произведений Флоренского, из которых многие переведены и изданы на разных европейских языках. В 1987 г. напечатаны из семейного архива и стихи Флоренского [10]. [До того был напечатан сборник его юношеских стихов «В вечной лазури» (1907 г.).]

В Италии, в университете города Бергамо, 10—14 января 1988 г. состоялся приуроченный к 1000-летию крещения Руси симпозиум «П. А. Флоренский и культура его времени», где наряду с итальянскими, американскими, французскими, немецкими, югославскими, венгерскими, польскими учеными участвовала советская делегация в составе чл.-корр. АН СССР С. С. Аверинцева, Р. А. Гальцевой, Н. К. Гей, С. С. Демидова, Л. К. Долгополова, Вяч. Вс. Иванова, епископа Уфимского и Стерлитамакского Анатолия (Кузнецова), перомонаха Иннокентия (Павлова), П. В. Палиевского, В. М. Пискунова, И. В. Роднянской, священника Василия (Строгонова), Б. А. Успенского, П. В. Флоренского (внука ученого).

О раннем этапе развития взглядов Флоренского на язык можно судить по его магистерской диссертации, где уже видна его увлеченность возможностями этимологического проникновения в историю понятий. Ницше предлагал когда-то объявить конкурс на академическое сочинение под заглавием: «Что дает языкознание, и особенно этимологическое исследование, для истории развития нравственных понятий?». Флоренский одним из первых попытался на этот вопрос ответить. Едва ли существенно вникать в подробности тех этимологий (иногда устаревших, часто нуждающихся в дополнениях и уточнениях), на которые он опирался. Важнее другое. Флоренский систематически сравнивает те семантические процессы, которые можно предположить в индоевропейских языках (из которых он по памятникам хорошо знал древнегреческий, латинский и старославянский, но изучал и другие, среди них осетинский) и в языках семитских (из которых тексты он изучал на древнееврейском). Эти сравнительные штудии привели его к любопытным выводам, изложенным в его труде весьма отчетливо: «Истина для еврея, действительно, есть „верное слово“, „верность“, „надежное обещание“. А так как надеяться „на князя, на сыны человечества“ — тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть неперемненное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. При этом можно отметить, что четыре найденных нами оттенка в понятии истины сочета-

ются попарно следующим образом: русское И с т и н а и еврейское

אמת

'амет относятся преимущественно к божественному содержанию Истины, а греческое *Alētheia* и латинское *Veritas* — к человеческой форме ея. С другой стороны, термин русский и греческий — характера философского,

тогда как латинский и еврейский — социологического. Я хочу сказать этим, что в понимании русского и эллина Истина имеет *непосредственное*, отношение к каждой личности, тогда как для римлянина и еврея она *опосредована обществом*» [11, с. 22]. Заметим, что заинтересовавшее Флоренского в этимологии русского слова соединение идеи истинности и абсолютной реальности [11, с. 15—16], из которого Флоренский склонен был выводить и «самобытную» характеристику русской философии» [11, с. 17, 614—615], в свете новейших лингвистических открытий должно быть возведено к индоевропейской древности: причастие от глагола **es*- «быть» значило «подлинно-существующее» [11, с. 15] не только в славянских языках (ср. русск. *сущая правда*), но и в архаическом гимне «Риг-веды» (*yád satyám* «которое — из двух соперничающих слов — правдивое», VII, 104), и в хеттской молитве в древней формуле признания вины: *asan-at* «это истинно так», где причастие *asan(t)*- «сущий» может заменяться и глагольной именной формой *es-zi* «есть, существует, является истинным» [12; 13, с. 82] (ср. сходное значение старолитовской формы *esti* «это на самом деле так»). Эти новые лингвистические разыскания подтверждают пронизательность языковой интуиции Флоренского еще в одном отношении — в латинском *sōns* «виновный», как и в родственном германском слове с тем же значением, отражена древняя правовая формула, в конечном счете связанная со значением истинности в том правовом его аспекте, который Флоренский для латинского языка и для древности вообще оправданно считал одной из сторон *культа* [11, с. 20]. Подтверждено новыми работами о развитии глагола в индоевропейских диалектах и принимавшееся Флоренским вслед за компаративистикой его времени различие индоевропейского **es*- как обозначения длительного в отличие от **bhū*- как обозначающего становление, чем и объясняется супплетивизм форм настоящего времени и аориста и перфекта [11, с. 17]. В современной лингвистике эта черта рассматривается как диалектная особенность той группы диалектов, из которых позднее выделился древнегреческий. Следовательно, хотя, по его собственным словам, Флоренский мог быть охарактеризован как «философ, больше из вежливости, чем всерьез, прислушивающийся к поучениям лингвиста» [11, с. 786], при этом он достаточно глубоко вникал в некоторые уроки сравнительного языкознания, хотя элемент игры с этой наукой в его работах ощутим. В отдельных случаях Флоренский дает два альтернативных этимологических объяснения, одно из которых ближе к народной этимологии (греческое *μάχαρ* от привативной частицы *μα*, которую Флоренский, желая этим подкрепить давнее объяснение *μάχαρ* у Шеллинга, сопоставляет и с осетинским отрицанием *ма*: по отношению к обоим отрицаниям сближение правильно, но этимология Шеллинга, см. о ней [11, с. 185—186], этим еще не доказывается), а другое дается этимологическими словарями (*μάχαρ* «блаженство» от **tak*-, греч. *μαχ-ρός*) [11, с. 189, 710]. Такая же двойственность обнаруживается и в трактовке Флоренским этимологии слова *приятель* в русском языке. Сначала он говорит о толковании *приятеля* как *приемлющего*, которое «не чуждо, по-видимому, богослужебным книгам, — хотя бы в виде игры слов» [11, с. 786]. Но затем дается общепринятая этимология слова (скр. *priya*- и т. п. [11, с. 787]). В этом случае два осмысления — близкое к игре слов и этимологическое — сам Флоренский, хотя и без полной уверенности, склонен толковать как два следовавших друг за другом этапа в осознании этого слова. Но рассуждение о нем прямо идет за пассажем, где Флоренский отрицает необходимость следования за «модой» в этимологии и настаивает на символическом

статусе лингвистической теории: «Лингвистические теории для нас, — не аргументы в собственном смысле. (— Да и возможны ли вообще такие в вопросах внутренней жизни? а если бы и были возможны, то нужны ли они, — там, где с а м а ж и з н ь говорит красноречивее всяких аргументов?—). Но если оне — не аргументы, то что же такое?— Конечно, своеобразные с и м в о л ы. При этом вовсе уж не так важно знать, насколько эти символы одобрены современными лингвистами; ведь переживания внутреннего опыта — для всех времен и народов, научные же мнения — дело текучей и изменчивой моды, постоянной нисколько не более, чем мода на дамские шляпки или рукава... Итак, если некоторая символика и д е т к нашей ближайшей задаче, то мы позволим не тревожиться, что скажут на нее лингвисты» [11, с. 785]. В это время, как бы подготавливая читателя к изложенному им позднее пониманию науки как символического описания, молодой Флоренский противопоставляет «радостную легкую окрыленность грядущей», в е с е л о й науки (слова Ницше) [11, с. 123] «священной, седой таинственности древней науки» и «нравственной важной строгости — новой».

Из других сопоставлений семантического развития слов, передающих сходные понятия в индоевропейских и семитских языках, стоит отметить наблюдения П. А. Флоренского о словах со значением «вера». «Русское „верить“ означает, собственно, д о в е р я т ь, т. е. содержит в себе указание на *нравственную* связь того, кто верит, с тем, кому он верит. Несколько подобно этому и немецкое *glauben* в е р и т ь, равно как и со-коренные: *erlauben* д о з в о л я т ь, *loben* х в а л и т ь, *geloben* д а т ь о б е т, *lieben* л ю б и т ь и английское *believe* в е р и т ь в о ч т о, в е р о в а т ь, происходящие от $\sqrt{\text{lub}}$ (ср. наш $\sqrt{\text{люб}}$ в слове „любить“) и первоначально означали почитать доверять и также одобрять. Греческое πιστεύω связан(н)о с πισθόμαι слушаться, а собственно — дать себя уговорить „быть убежден у“, но также относится и к самому лицу: „дарить доверием“, „д о в е р я т ь“» [11, с. 69]. Отметив сходство соотношения греческого πιστις и πιστός с русским *вера* и *верный*, Флоренский переходит далее к опыту

этимологического соединения еврейского ג'עמין ге'эмин с древнееврей-

ским обозначением истины, рассмотренным в цитированном выше отрывке. По Флоренскому, «если русское *верить* и немецкое *glauben* указывают на субъективный момент веры, именно „веренье“, как нравственную дея-

тельность соотношения с Каким-то Лицом, то еврейское ג'עמין ге'эмин

отмечает п р и р о д у этого лица как природу Истины и указывает на веру — как на *истинствование*, как на пребывание в Истине, разумеемой, конечно, *по-еврейски же*» [11, с. 69]. Лат. *fides* по его значению («у д о с т о и в а н и е д о в е р и е м и с а м о е д о в е р и е» [11, с. 69]) Флоренский сопоставляет с греч. πιστις, тогда как по отношению к лат. *credere*, правильно отмечая, что оно «имеет, по латинскому обычаю, значение *сакральное*» [11, с. 69], Флоренский не вполне верно истолковывает его связь с скр. *śraddhā*. Разыскания последних десятилетий дают основание считать, однако, что семантическая реконструкция исходного значения этого латинского (и санскритского) слова «с в о е с е р д ц е п о л а г а т ь

на (Б о г а)» была верной (ср. [13, с. 143, 146; 12, с. 30]): Флоренский правильно представил древнее значение словосложения (в ведийском еще сохранявшего, как и в хеттском, черты словосочетания со свободным порядком составных частей) как результат соединения двух слов — названия «сердца» и глагола «полагать, ставить» (как теперь установлено, грамматическое значение формы первого слова близко к докативному). При нередких неточностях Флоренский прав в окончательном результате, что позволяет сравнить силу его лингвистической интуиции с теми прозрениями, которые можно найти у крупнейших лингвистов прошлого: конкретные этимологии устаревают, но выводы относительно истории слов их переживают.

В разделе своего первого большого философского сочинения, посвященном символике «сердца», Флоренский приходит к выводам, подтвержденным всем последующим развитием сравнительно-исторического языкознания: «В индо-европейских языках слова, выражающие понятие „с е р д ц е“, указывают самым корнем своим на понятие центральности, срединности» [11, с. 269]. Правильность этого положения, раскрывшаяся полностью для общиндоевропейского после обнаружения родственных слов со значением «сердцевина, внутренности» в хеттском и других анатолийских языках, как представляется, Флоренскому была обеспечена благодаря его ориентации в данном случае именно на славянские языки, сохранившие в словах типа цитированного Флоренским древнерусского *середъ* следы очень старого словоупотребления. Флоренский присматривался и к живой речи, включая и вновь возникавшие термины (позднее он посвятит им столько статей в «Технической энциклопедии»): «„С е р д ц е“ принимает иногда значение: „нутро, недро, утроба, средоточие, нутровая середина“, так что говорится „с е р д ц е з е м л и“, вместо нутро земли, „сердце дерева“ (ср. французское *coeur d'un arbre*) и „сердце пerra“ — в смысле „средины толщи“ их. Подобным же образом можно слушать выражения: „сердечко яблока“, т. е. гнездо, семена вместе с кожухом; „с е р д ц е в и н а дерева“, т. е. срединная мякоть в дереве, проходящая как бы жилкою от корня, до самой вершины; „сердцевина камня“, ядро где оно есть, особого вида или состава камень внутри другого; „соляная сердцевина“ в горной соли (Илецк), чистые гранки, прозрачные как стекло, лежат гнездами; кремневый голыш в меловой толще, или, на казанском наречии, с е р д ц е. Поэтому же с е р д ц я и к о м называется всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру; болт, пропускаемый сквозь переднюю подушку и ось повозки, на котором ворочается передок; шворень, штырь, курок; железный стержень с шаром, для образования пустоты, при отливке пустотелых артиллерийских снарядов; или, еще, мягкое железо, образующее электро-магнит и помещаемое внутри намотки, например, в динамо-машинах, „сердечник электромагнитов“ или „сердечник барабана“» [11, с. 269—270]. Среди недавно открытых древних индоевропейских параллелей к употреблению слов этого корня, изученным Флоренским, особенно стоит упомянуть соответствующие хеттские факты: существительное *karat-* «внутренности, сердцевина» может относиться и к сердцевине оливкового дерева.

Установив особенности значений слов, родственных названию «сердца» в индоевропейских языках, Флоренский проводит затем этимологическое исследование семитских названий сердца [11, с. 270—274]. Принимаемой им этимологией, по Флоренскому «хорошо объясняется, почему св. Писание говорит иногда о „сердце“, т. е. о средоточии, о центральных по значению или по положению пункте или области неодушевленных

существ мира» [11, с. 271]: «сердце неба», «сердце моря», «в середину дуба». Поэтому же Флоренский предполагал «отражение гебраистического образа» [11, с. 271] в евангелии от Матфея, 12.40: τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς «сердце земли».

Эти филологические наблюдения над ветхозаветными и новозаветными текстами сохраняют всю свою ценность независимо от того, верно ли принимавшееся Флоренским предположение о том, что семитское название «сердца» образовано от глагольного корня со значением «укутываться, обворачиваться, обвиваться». В своем исследовании контекстов употребления названия «сердца» и родственных слов в индоевропейских и семитских языках Флоренский одним из первых пошел по пути, который позднее был пройден в ряде последующих сочинений, где, как и в книге Флоренского [11], языковая образность, касающаяся сердца, соотносится с медицинскими и культурно-историческими данными, позволяющими в широкой семиотической перспективе наметить пути преобразования символа «сердца» в разных культурах.

Из значительно более бесспорных примеров использования Флоренским выводов сравнительно-исторического языкознания отмечу то, как искусно он привлек их для подтверждения своего понимания памяти как «творческого начала мысли» [11, с. 202]: «Язык тоже свидетельствует в пользу изложенного понимания памяти. По крайней мере корень слова п а м я т ь, — $\sqrt{m\bar{p}}$ —, в индо-европейских языках означает м ы с л ь во всей широте понимания этого слова» [11, с. 202—203]. Приведя соответствующие этимологические параллели, Флоренский заключает: «...таким образом, действительно, п а м я т ь — это и есть м ы с л ь по преимуществу, с а м а мысль в ее чистейшем и коренном значении» [11, с. 203].

Замечания Флоренского об этимологии обозначений времени представляют интерес и для понимания в целом его концепции времени, и для сопоставления с научным и художественным преломлением выявляемых у этих обозначений этимологических связей в сочинениях его современников. В одном из примечаний к главе своей большой книги, где говорится о времени, Флоренский приводит со ссылкой на Миклошича и Бругмана сравнение русск. *время*, ст.-слав. *врѣмѧ* с скр. *vart-man-*, «от *vr̥t-* «вращать», как *к о л о в о р о т*, с чем можно было бы сблизить *пре-врат-н-ый*, о времени» [11, с. 795].

Идея связи значений «вертеть — время» позднее исследовалась М. Покровским и многими другими лингвистами, чьи выводы поддержал Р. Якобсон в исследовании, посвященном значению «супружеская измена» у старославянского *vr̥mę*. Согласно Якобсону, «...If the turn of the wheel underlies the metaphorical „wheel of time“ and the Slavic *vermę in its temporal meaning, the same designation of turns might easily bifurcate into a name for uniform rotation and, on the other hand, for notion sideways, swerve, deviation, veer, shift, deflection, aberration, detour» [14, с. 652]. На полученном мной в 1970 г. оттиске первой публикации статьи в дарственной надписи Р. О. Якобсон охарактеризовал ее как «этимологический комментарий» к вещаниям Андрея Белого в письме Э. К. Метнеру 3 III 1903 по поводу провидца Врубеля, живописавшего взаимных соблазнительей Фауста и Маргариту: «Эти обороты веретена суть обороты времени» (подчеркнуто Якобсоном; из моего архива. — И. Вач.). Подобные переключки важны для понимания темы «Флоренский и его время»: оказывается, что даже и некоторые этимологии и основанные на них анаграмматические построения могут быть чертами времени.

Но для Флоренского именно эта этимология не была столь важна — недаром он упоминает ее вскользь в примечании, тогда как для Белого, как потом и для Якобсона, в ней обнаруживались существенные связи между словами. Но при всех различиях между тремя сопоставляемыми текстами (Флоренского, Андрея Белого и Романа Якобсона) центральным при истолковании древнего значения слова *время* оказывается образ «коловорота», отмеченный в цитированном примечании Флоренского, чья интуиция не перестает изумлять.

Этимология этого слова была лишь небольшой частью тех языковых данных, которые были привлечены Флоренским при рассмотрении проблемы времени, занимавшей его и в первой книге, и в последующих работах. Больше всего в первой книге его привлекала тема «Время и Рок», раскрытая им с помощью языковых данных: «Р о к, тяготеющий над нами, есть В р е м я. Самое слово „р о к“ имеет смысл темпоральный. У некоторых *славянских* племен оно прямо обозначает „г о д“, „л е т о“, т. е. двенадцать месяцев, подобное же значение этого слова можно найти и в русском языке южных и западных губерний.

На *чешском* языке, среди прочих значений, оно имеет и значение „определенного времени“, „срока“, затем „времени вообще“ и в особенности „часа“. Точно также *русское* „с-рок“ сохранило темпоральное значение своей основы „р о к“, в древнем же языке „р о к“ прямо обозначало „о п р е д е л е н н о е в р е м я“, „с р о к“, „г о д“, „в о з р а с т“ и, затем уже, — „судьба“.

„Р о к“, „р о к о в о й“ происходит от „р е щ и“, т. е. означает и нечто изреченное или изрекаемое; по своему коренному значению, Рок — это и з р е ч е н и е. В *чешском* языке слово *rok* даже прямо означает реч ь, с л о в о, а затем — обручение, — с г о в о р» [11, с. 531—532]. Верность наблюдений раскрылась в более широкой сравнительно-исторической перспективе, благодаря обнаружению в тохарских языках родственных слов со значением «речь»: тохар. *Breki* (точно соответствует браформе **reki*, откуда русск. *речь*), тохар. *A rake* «речь».

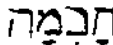
Удачным в этой главе представляется и соотнесение с теми же смысловыми переходами связи русского *судьба* и *суд* с греческим *συν-τί-θη-μι* «соединять, по взаимному договору назначать» и *θέ-μι(δ)ς* «право, закон, справедливость» (от того же индоевропейского корня **dhe-*); к приведенным сближениям постоянно и теперь возвращаются историки славянской и индоевропейской правовой терминологии и «предправа», реконструируемого и по языковым данным.

Но особенно удачным в этой главе книги (где при многих верных наблюдениях нет тех многочисленных неточностей, которые портят упоминавшиеся выше части книги) представляется сопоставление семантики приведенных славянских слов с развитием значений лат. *Fatum* «судьба, рок» (от латинского корня *fa-to-r, fo-r*), которое Флоренский исследовал по текстам, отметив, что в многочисленных надгробных надписях *Fatum, Fata, Fatus* употребляются как явные синонимы словам „aetas“ и „tempus“» [11, с. 533].

Исследование *Памяти* (в том числе и по данным индоевропейских и семитских ее обозначений) и *Времени* оставалось одною из постоянных тем творчества Флоренского.

Кроме более подробно рассмотренных выше этимологий обозначений времени, сердца, истины, веры, памяти, судьбы, в трудах Флоренского можно найти результаты исследований истории названий стыда [11, с. 704], тела [11, с. 264], ревности [11, с. 479—481], греха [11, с. 179],

ада [11, с. 178], греч. ἀπορία «апория, затруднительное положение» [11, с. 627] (интересны замечания Флоренского о божестве Πόρος у Платона, которое в том же духе понимается вслед за Пальмером и новейшими исследователями, ср. о том же божестве, понимаемом как «Πόρος „Effectiveness“ (Opp. ἀπορία „quandary“), whom Alkman... called „the oldest of the gods“» [15]), ц.-слав. *мартарь* из греч. τάρταρος [15, с. 717] и русск. *князь-молк* [16]. Особенно следует отметить занятия Флоренского этимологией греческого и семитских названий мудрости — Софии, занимавшей столь важное место в его концепции [11, с. 326, 753]. Интересовавшие Флоренского обще-

семитские корни древнееврейского  *Ḥokmā* «Мудрость» во многом

прояснились благодаря исследованию угаритских текстов, где родственное древнееврейскому угарит. *ḥkmt* «Мудрость (Бога)» встречается в таких контекстах, как *ḥkḥ.il.ḥkm.ḥkmt/'m 'l.ḥyt.ḥzt/ḥmk* «Твое поведение, о Эль, мудро (= Мудрость), мудро навечно! Твое поведение означает жизнь благоденствия» [17]. Связь угарит. *ḥakmti* «мудрый (о Боге-Эле)» и *ḥakmt* «Мудрость (Эля)» согласуется и с предположением о значительной архаичности [18] гимна из Proverbia, где «по отношению к Богу Премудрость представляет собой как бы воплощение Его воли» [19].

У слов разных языков, которые Флоренский включает в свои тексты, есть и совсем другие функции, близкие к художественным. Рассуждая о шеллинговой этимологии *máxar* «блаженство», Флоренский между прочим отмечает его почти полное созвучие с осетинским *mā xar* «не ешь» [11, с. 188]. В одной из следующих глав в лирическом отступлении, описывающем один из пережитых автором кризисов, Флоренский, пишет: «Тщетно старался я сказать сердцу: „Не ешь — *mā xar*“» [11, с. 257]. Слова осетинского языка, выученные у одного из товарищей Флоренского — осетина П. Г. Ходзарагова, используются в духе той глоссалалии, построенной на основе иностранных (преимущественно итальянских и испанских) слов, которой Флоренский увлекался в детстве, судя по его автобиографии [1, с. 103]; в этой последней можно найти и другие интересные высказывания о привычном ему словоупотреблении, в частности, табуистическом [1, с. 82—85].

Флоренский и сам говорит о том, что лингвистические символы, в том числе этимологические, нужны ему для выражения внутреннего опыта. Так, цитированное описание собственного кризиса, во время которого Флоренский говорит себе осетинское приказание (адресуя его своему сердцу), кончается словами, по-гречески описывающими просветление — «утишение»: «Я обрел возжеленный *ḡatákhōis*, я постиг тогда, что значит *máxarōis*» [11, с. 258]. Следовательно, изложенная двумя главами выше полуфантастическая осетинская этимология последнего слова — символ пережитого кризиса.

Такое использование этимологии напоминает увлекательные фантазии Стриндберга, за несколько лет до того (в конце 900-х годов — в последние годы жизни) смело сближавшего друг с другом слова самых разных языков [20]. Но особенно близка эстетическая игра с этимологией слов разных языков к принципам построения «Ulysses» и «Finnegan's Wake» Джойса и многочисленным подражаниям, переложениям, дешифровкам и обсуждениям второго романа в поставангардистской литературе. Уже приходилось вместе с тем отмечать разительное сходство языковых опытов Джойса, Арто и Хлебникова. Барочный стиль книги «Столп и утверж-

дение истины» допускает отчасти такие сближения — в той же мере (очень значительной), в какой книга является и художественным произведением (что очевидно уже и по внешнему ее облику). Но у Флоренского принадлежность книги к жанру «веселой науки» прорывается лишь временами.

Другое естественное сравнение, которое напрашивается в связи с языком научно-художественно-философской прозы Флоренского — это уже предлагавшееся С. С. Аверинцевым сопоставление с манерой разделять на части немецкие слова у Хейдеггера [21], ср. у Флоренского в «Столпе и утверждении истины»: н е о п р а в - д а н н о с т ь , с а м о р а з н о г л а с и е , «само-отвержение — это единственное, что приближает нас к бого-подобию», «полу-браке и полу-блуде», со-пребывать [11, с. 25, 27, 163, 299, 444]. Отчасти на новообразования Флоренского влияла «пред-хейдеггеровская» немецкая философская терминология: «Любовь и есть „да“, говоримое Я самому себе; ненависть же — это „нет“ себе. Непереводимо, но выразительно эту идею Р. Г а м е р л и н г отчеканивает в формуле: любовь есть *das lebhafteste Sich-selbst-bejahen des Seins* — живое себе-самому- „да“ бытия» [11, с. 92]; можно вспомнить усилия Сартра передать в *L'être et le néant* терминологию Хейдеггера. Но в очень большом числе случаев языковые новообразования или особенные обороты речи у Флоренского связаны с передачей греческого термина в соответствии с давней старославянской и церковнославянской традицией переложения текстов с греческого. Из весьма многочисленных примеров упомянем такие слова, как *инаковость* (греч. *ἐσρότης*), «едино-сущным» (*ἑξοῦστος*), а не только п о д о б н о - с у щ н ы м (*ὁμοούσιος*), «ч и н о - п о с л е д о в а н и е на брато-творение», *ἀκολουθία εἰς ἀδελφοποίησιν* или *εἰς ἀδελφοποίησιν* [11, с. 46, 91, 457, 608]. И иноязычные — немецкие и античные прообразы, и значимость церковной традиции могут отчасти объяснить кажущиеся совпадения и с позднейшим языковым экспериментом Цветаевой. Но в новшествах этой последней оправданно видят реакцию на язык символистов, Флоренский же еще в «Столпе и утверждении истины» с этим языком связан: как символисты-архаики, подобные Вячеславу И. Иванову, он продолжает древнюю традицию витийственного церковного красноречия (что не противоречит сказанному выше о переключке использования этимологизации у Флоренского с авангардом: ему в определенных границах сочувствовал и тот же Вячеслав Иванов). На славянской почве эта традиция наслонилась на более раннюю, связанную с языческим обрядом и фольклором.

Этимологические разыскания в области индоевропейского словаря — сфера исследований, столь занимавшая Флоренского, — могут (вполне в его духе) быть использованы для того, чтобы показать связь его собственной философии языка с этой древней общеиндоевропейской традицией. Одним из ключевых понятий во всей его философской системе было *имеславие*, которому посвящался особый раздел в лингвистической части «У водоразделов мысли». Уже в 1907 г. молодой Флоренский работает над освещением проблемы в труде «Священное переименование» (ср. [11, с. 617], а в 1909 г. издает работу на близкую тему об именах). Русский и церковнославянский языки сохранили в сложном слове *имеславие* аналог древнего сочетания, отраженного и в греческом *ὄνομα κλέον* («Илиада», X, 51), и в ведийском *nāma śrutyam*, и в тохарском *Añom-klyu*, *Bñem-kälywe* «слава» [22]. Не исключено, что конкретная форма славянского слова сложилась под греческим влиянием, но исходный материал, из которого создано это сложение, т. е. сочетание корня **klew-* «слава, славный»

с предшествующим именем существительным **noml* «имя», было одним из тех многочисленных оборотов с названием «славы», которые достоверно восстанавливаются для общеевропейского поэтического языка. Лингвистические символы, которыми пользовался для описания языка Флоренский, сложились некогда после преобразования раннеславянских мифопоэтических обозначений индоевропейского происхождения, испытавших греческое влияние.

Греческий язык, и главным образом язык Нового Завета, и особенности ранних славянских переводов с греческого были предметом многолетних занятий Флоренского. В качестве образца укажем на изданное отдельной книгой исследование глагола ἀρτᾶζειν «восхищать» [23]. Флоренский начинает с истолкования слова, «проведенного чрез ближайший контекст», и далее изучает его значение у 12 авторов, использовавших его в мистическом смысле, — от Филона (I в н.э.) до Николая Кавасилы (XIV в.). Заметим, что в то время исследование греческого языка византийского времени только начиналось и Флоренский руководствовался не общими пособиями, а собственными познаниями в текстах. Далее на обширном материале он определяет более древнее значение, характеризовавшееся тем, что «в древнегреческом мифе переход человека в миры иные представляется как восхищение или как похищение его трансцендентными существами» [23, с. 26]. После обстоятельного изучения соответствующих текстов, которым он предлагает оригинальные толкования (ср. об Орфее: «привлекши к себе женственное начало своего духа, свою Евридику, не свободною любовью, а магическою привязанностью, чрез тайнодейственную музыку свою, Орфей Евридики, на самом деле, никогда не имел в себе, но — лишь возле себя: он, аспект Аполлона и сам явление аполлинийного начала, есть чистая мужественность... Орфей погиб за одностороннее утверждение начала мужеского перед женским... В дерзновении чрезмерной мужественности он врывается в таинственный мир, вопреки стражам его, чтобы восхитить женственное начало своего духа, от него ушедшее» [23, с. 46—47]), Флоренский решает главную свою задачу: определяет значение слов апостола Павла, предостерегавшего от искушения «счесть и Иисуса Христа за одного из восхитителей богоравенства, наподобие тавматургов, правдами или неправдами достигавших экстаза» [23, с. 48]. Флоренский приходит к выводу, что, употребляемое мистически, слово ἀρτᾶζειν, как и наше «восхищение», непременно должно содержать в себе недифференцированность предмета познания и субъекта познания, предмета восхищения и лица восхищающегося» [23, с. 53]. Вывод представляет интерес гораздо более общий, в том числе и для сопоставления с идеями Бора и других физиков о соотношении воспринимающего прибора и воспринимаемого. Заметим, что проблема, которую в этой книге решал Флоренский, относится и к большому слою славянской лексики, которая должна была при передаче христианских греческих текстов осмысливаться по-новому, сохраняя только след былых мифологических значений.

Из других лексико-семантических разысканий Флоренского в области греческого словаря надлежит указать на произведенное им исследование для греческого языка и отдельно для языка Нового Завета и греческого перевода Ветхого Завета семантического поля глаголов любви — по словам Флоренского, «четверица слов любви — это одна из великих драгоценностей сокровищницы эллинского языка, и едва ли можно одним взглядом охватить весь круг преимуществ, доставляемых жизне-понима-

нию этим совершенным орудием. Другие языки не могут похвалиться даже подобным чем-нибудь в области идеи любви; отсюда — бесконечные и бесполезные прения и трения, отсюда же — потребность выдумать хотя бы суррогат эллинской четверицы, т. е. при помощи нескольких слов создать термин равно-сильный греческому одному слову» [11, с. 406] (см. также [24]; там же сопоставление с положениями философа Хайдеггера). Произведенный в экскурсе в первой большой книге Флоренского подробный, детальный анализ соотношения четырех глаголов и произведенных от них существительных основан на синхронном употреблении (в том числе у Аристотеля, из текста «Риторики» которого Флоренский извлекает противопоставление φιλεῖσθαι «быть любимым» и ἀγαπάσθαι «быть ценным») и в малой степени касается их этимологии. Поэтому кажется любопытным, что среди четырех намеченных Флоренским обозначений — «стремительный, порывистый ἔρωc, или любовь ощущения, страсть; нежную, органическую στωρῆ, или любовь родовую, привязанность; суховатую, рассудочную ἀγάπη, или любовь оценки, уважение; задушевную, искреннюю φιλία, или любовь внутреннего признания, личного прозрения, приянь» [11, с. 400] — сравнительное индоевропейское и новейшее ностратическое языкознание в качестве особенно древнего выделяют στωρῆ, родственное древнеирландскому seisc «любовь», *dearc*, *deserc* «милосердие» и другим индоевропейским глаголам со значениями «болеть, сторожить» (русск. *стереж*, хет. *ištark* «болеть») при соответствиях и в других ностратических языках. По Флоренскому, στέρεσις означает не страстную любовь или склонность к лицу или вещи, не позыв к объекту, определяющему наше стремление, а спокойное и непрерывное чувство в глубине любящего, так что, в силу этого чувства, любящий признает объект любви близко принадлежащим ему, тесно с ним связанным и в этом признании обретает душевный мир; στέρεσις относится к органической, родовой связи, нерасторгаемой, в силу этой прирожденности, даже злом. Такова нежная, спокойная и уверенная любовь родителей к детям, мужа к жене, гражданина к отечеству» [11, с. 397].

Из вопросов греческой грамматики, специально разобранных Флоренским [11, с. 169], стоило бы отметить анализ причины постановки артикля при сказуемом-существительном, обозначающем название, которого только и достоин субъект (у св. Иоанна Богослова ἡ ἀνομία «беззаконие, но преимуществу заслуживающее это название» [11, с. 169]). Существенно также предложенное им толкование настоящего времени в евангельском контексте [11, с. 247].

Глубина предпринятых Флоренским изысканий делает весьма ценным осуществленные им опыты переводов с греческого отдельных мест Нового Завета (ср., например [11, с. 13, 23, 71, 85, 136—137, 177, 189, 190—191, 183—184, 215, 223—230, 238, 239, 330, 333, 351, 418—424, 426] и др.), текстов отцов церкви (ср. [11, с. 139, 263, 292, 293, 310, 313, 314, 343—348, 352, 353, 441—444, 469] и др.).

В некоторых случаях столь же основательный филологический анализ текста Ветхого Завета на древнееврейском языке, как и греческого новозаветного, Флоренский демонстрирует в своих богословских трудах [11, с. 272, 273]. Из отдельных лексических замечаний, касающихся древнееврейского языка (кроме уже упоминавшихся, ср. также о древнееврейских словах со значениями, возводимыми к «культу» [11, с. 193—194]), можно отметить упомянутое в главе о цветовой символике толкование

171, 439]), Аристотеля [11, с. 81, 275, 471 и др.], Гераклита [11, с. 155, 689—690], Спинозы [11, с. 466, 469], Лейбница [11, с. 76, 77], Суареса [11, с. 517, 518] (интерес к взглядам Суареса, в частности, на язык, оживился совсем недавно), Когена [11, с. 82].

В предисловии к своему Словарю графических символов (*Symbolarium*) в 1923 г. Флоренский писал: «Выражение мысли фонетическим способом, т. е. при помощи звуков слов, фиксированных в графических формах букв, является достижением развитых культур и обусловливается, без сомнения, наличием сформированного языка словесного» [25]. В первом выпуске словаря кроме данных о графическом символе точки можно найти интересные сведения и о соответствующем термине и его понимании у пифагорейцев, Лейбница и последующих ученых. В 1929 г. в письме Вернадскому Флоренский писал: «За долгое время моих занятий в области истории мысли, в связи с филологией, историей философии и т. д. у меня накопился значительный материал по истории научной терминологии и отдельных научных понятий и концепций, причем мое внимание особенно привлекали наиболее далеко прослеживаемые исторические корни терминов и понятий... Лишь при известном, редко встречающемся сочетании интересов, подобные вопросы могут быть освещаемы, а мне пришлось пользоваться для освещения не только обычными ресурсами, вроде математики, математического естествознания, философии и т. п., но и прибегать к данным лингвистическим, филологическим и археологическим» (Письмо, датированное 29.IX.1929; см. [26]). Напряженное внимание к терминологии видно в многочисленных статьях, помещенных в «Технической энциклопедии». Так, вопросов номенклатуры он касается в статье об изоляционных электротехнических материалах, отмечая, что из-за засекречивания их фирмами сохранилась «случайность и сложность изоляционной номенклатуры, причем И. э. м. (=изоляционные электротехнические материалы), весьма близкие между собою, иногда даже тождественные, выпускаются на рынок под совершенно различными названиями. Названия И. э. м. в подавляющем большинстве случаев не связаны с физико-химич. природою материалов и производятся от фамилий, имен, начальных букв и т. д., так что могут быть усвоены лишь памятью» [27, с. 920]. В статье о «землях» (корпусных красках мало насыщенных цветов и землистого тона) он отмечает условность названия «земель», присутствующего лишь в каталогах отдельных фирм [27, с. 417]. Особый интерес представляет введенная им самим терминология в связи с классификацией изоляторов, которые, как и технику в целом, он понимал в духе выработанного им противопоставления энтропии и эктропии: «Основная задача техники — направлять энергетич. процессы, суживая неопределенные возможности процессов естественных и тем концентрируя процесс в направлении и области, мало вероятные для процесса естественного. Энергия имеет естественное стремление к деконцентрации, качественной и количественной, т. е. к уменьшению содержания данного вида ее в данной области за счет распространения в другие области. Таким обр., упорядоченность энергии сама собою расстраивается и переходит в беспорядочность; тем самым энергия утрачивает свою техническую ценность в качестве источника упорядоченной работы. Задача техники — бороться с этим процессом, упорядочивая энергию и по возможности удерживая ее в упорядоченном состоянии вплоть до использования. Это достигается уединением, или *и з о л я ц и е й*, тех или иных процессов от возможности энергетич. обмена с остальной средой» [27, с. 820]. Под влиянием идеи биосферы у Вернадского Флоренский вырабатывает поня-

тие и термин «биоизоляционных» материалов, понимая под ними материалы, «ставящие преграду распространению жизни. В связи с современным воззрением на жизнь как главный фактор энергетических превращений на поверхности земли, как планеты — в биосфере, — биоизоляционные материалы, надо полагать, будут признаны в будущем наиболее важными И.м. промышленности» [27, с. 900]. По мере развития биотехнологии к концу XX в. это предвидение начинает реализовываться.

В статье «Измерение», дающей очень глубокую характеристику неопределенности, выявляемой в любом измерении (хотя статья имеет в виду обычные наблюдения в макром мире, тем не менее согласие с боровскими мыслями очевидно), Флоренский касается вопроса о необходимости введения названий для единиц измерения: «Результат всякого И. (= измерения) есть число именованное. Отсутствие в нек-рых случаях названия соответственной единицы о д н и м словом ведет иногда к утверждению об отвлеченности соответственного числа, но — ошибочно, т. к. именованное единичею служит в этих случаях как раз та самая величина, к которой берется отношение» [27, с. 781, 782]. Эта мысль связана с гораздо более общей идеей Флоренского о роли естественного языка для того символического языка, за каковой он признавал физику.

Флоренский принадлежал к числу тех мыслителей XX века, в чьих трудах языку отводилось центральное место (назовем рядом с ним Витгенштейна и Бора). В плане итогового философского труда Флоренского «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» первый выпуск заканчивается главами «Мысль и язык (Наука, как символическое описание. Диалектика. Антиномии языка. Термин. Строение слова. Магичность слова. Именславиe как философская предпосылка)» [8, с. 68]. Из этих глав, посвященных лингвистическим и примыкающим к ним семиотическим проблемам философской концепции Флоренского, при жизни автора была напечатана первая — «Символическое описание» [28, с. 80—94]. Посмертно из этих лингвистических глав первого выпуска «У водоразделов мысли» была напечатана (с комментариями С. С. Аверинцева) статья «Строение слова» [16], где суммарно изложены взгляды Флоренского на внутреннюю и внешнюю форму слова. Но, насколько можно судить по плану всего сочинения, и другие его главы, такие, как «Имя рода» (7-я гл.), «Метафизика имени в историческом освещении» (10-я гл.), «Имя и личность» (11-я гл.), должны были затрагивать вопросы философии имени.

В настоящую публикацию входит некоторые из тех исследований И. А. Флоренского о лингвистике и философии языка, которые им мыслились как части большого труда «У водоразделов мысли».

Основной идеей работы Флоренского о символическом описании было представление физики как языка. Эту точку зрения сам Флоренский понимал как развитие и продолжение того взгляда на физическую теорию, которое было предложено Махом еще в 1872 г. и далее поддержано многими крупнейшими учеными конца XIX и начала XX в. Физическая теория, понимаемая как символическое описание, или язык, противопоставляется объяснению, как оно мечталось, например, энциклопедистам XVIII в. и их последователям. Разбирая противоположность близких ему идей Максвелла классической механике, Флоренский задолго до Карнапа и других логиков Венской школы формулирует мысль о языковой символической структуре. В то же время еще до того, как Бор подошел к своему принципу дополнительности (комплементарности), Флоренский настаивает на возможности многих моделей, исключаящих одно единственное объяснение:

ведь в символическом описании перед нами «модели, символы, фиктивные образы мира, представляемые вместо явлений его, но отнюдь не объяснение их. Ведь объяснение притязает непременно на е д и н с т в е н н о с т ь, между тем как эти модели действительно допускают беспредельный выбор» [28, с. 88]. Сходство с боровским принципом дополнительности в особенности очевидно в содержащемся в этой же работе Флоренского рассуждении о как бы противоречащих друг другу моделях: по мысли Флоренского, можно пользоваться и взаимоисключающими «образами подобно тому как нет препятствий пользоваться различной аналитической символикой» [28, с. 89]. Здесь продолжают и углубляются мысли, высказанные им еще в первой большой его философской книге в связи с парадоксом Льюиса Кэррола. На этот последний Флоренский откликнулся очень рано и тем самым подошел одним из первых к обсуждению философских следствий непринятия принципа *tertium non datur*. Напомним, как Флоренский иллюстрирует свою мысль. Излагая посредством записи на формальном логическом языке казалось бы противоречивую фразу «Небо голубое; на закате небо — красное», он пытается разрешить парадокс, понимая во второй половине фразы другой денотат (если воспользоваться более новой логической терминологией) для слова «небо»: «„при закате“ наблюдатель не имеет дело с „небом“, не наблюдает „неба“, — а с чем-то иным, — не с небом; например, если пытаться дать положительный ответ, наблюдатель тогда видит с о л н ц е, хотя и чрез атмосферный слой, чрез „небо“» [11, с. 504]. Эти языковые иллюстрации к логической работе Кэррола интересны еще и тем, что Флоренский как бы дает намек на то, как связать парадоксы Кэррола-логика с опытами сочинения заумных текстов на естественном языке у писателя Кэррола. В то время Флоренский еще подобными текстами не интересовался, но позднее в работе об антиномиях языка Флоренский обратится к примерам заумных сочинений русских писателей — его современников. Заметим, что языковая практика Кэррола до настоящего времени остается в центре внимания лингвистов, изучающих соотношение языка и логики.

Еще интереснее иллюстрация парадокса Кэррола на богословском примере, различные варианты которого и позднее рассматривались в той же связи. Флоренский противопоставляет две точки зрения: «Р а ц и о н а л и с т говорит, что противоречия Священного Писания и догматов доказывают их не-божественное происхождение; м и с т и к же утверждает, что в состоянии духовного просветления эти противоречия именно и доказывают божественность Священного Писания и догматов» [11, с. 504]. Если в этом случае примирение противоречий достигается «на высшей ступени духовного познания» [11, с. 505], то в примере с толкованием слов естественного языка (как «небо») с помощью физических данных Флоренский видит, «что тут логистика вводит нас *in medias res* научной работы физика» [11, с. 504].

Если занятия Флоренским логическими парадоксами подготовили его к принятию возможных взаимно исключающих друг друга моделей одного и того же явления, то его опыт экспериментатора вел его к выяснению принципиальных ограничений измерения, которые были отчетливо изложены в соответствующей статье в «Технической энциклопедии», где некоторые используемые понятия («неопределенность») достаточно близки к понятийному аппарату квантовой механики. Вместе с тем он тщательно изучает и роль наблюдателя, подчеркивая «условность и произвол, с какими устанавливается граница всякого измеряемого объекта. Находясь в непрерывном взаимодействии с окружающей средой, ни один

объект не разграничен настолько четко с этой средой, чтобы относительно любой точки пространства можно было сказать как о прилежащей либо к объекту, либо к среде; поэтому никогда не может быть указана общеобязательная граница объекта, и даже один и тот же наблюдатель будет намечать эту границу всякий раз по-разному» [27, с. 777].

Для символического описания, по Флоренскому, центральным понятием было описание на естественном языке: «область слова — не менее области сознания, если не более. Все, растворимое сознанием, претворяется в слово» [28, с. 92, 93]. Принимавшийся Флоренским тезис о полной переводимости всех знаков и текстов на естественный язык позднее стал чрезвычайно важным для всего того направления семиотики, которое исследовало вторичные (надязыковые и подязыковые) знаковые системы с точки зрения возможностей их перевода на первичную и основную семиотическую систему — естественный язык. Структура естественного языка для Флоренского (как в древнегреческой философии для такого мыслителя, как Аристотель) подсказывает и понимание всей картины физического символического описания мира. Занимавшее в этой связи Флоренского противоположение взглядов на язык как на систему слов и их сочетаний (как позднее в порождающей грамматике) и другой точки зрения, при которой язык (как, например, и в современной риторике) предстает в виде системы речей, позднее интересовало и других лингвистов и философов (через несколько лет идеи, весьма сходные с мыслями Флоренского по этому поводу, разовьет Бахтин, во многом предвосхитивший формулировки Бенвениста). Но для Флоренского несомненно исключительно важным при этом было соотнесение идеи непрерывного, столь важной для математики XIX в., и прерывности, вслед за его университетским учителем Н. В. Бугаевым (отцом писателя Андрея Белого), выдвигавшейся им как основной принцип науки XX в. В своем университетском сочинении Флоренский прямо отмечал, что к пересмотру соотношения двух этих противоположных ориентиров давно звал «Н. В. Бугаев, на лекциях своих и статьях, указывающий значение прерывности как элемента мировоззрения. Само собой понятно, что на работы Кантора, как и на работы Бугаева, почти не обращали внимания. Но смерть прервала исполненный веры призыв Бугаева как раз в то время, когда его идеи, или идеи, подобные его идеям, начали пробиваться из-под камней в разных закоулках науки. Пока они бледны, скромны и не развернулись, так что их можно еще при желании игнорировать. Но стоит только вспомнить „теорию мутаций“ Фриза в биологии, „гетерогенезис“ Коржинского и факты, их подтверждающие, работы Таммана по термодинамике и молекулярной физике, быстро накапливающийся материал по психофизике, изучение сублиминального сознания и творчества в психологии (Du-Prel, Muers и др.), вопросы о психической жизни в целом и т. д. и т. д., чтобы согласиться с этим. Да и само общество, по-видимому, склонно к тем же идеям, или, точнее, к тем же настроениям. Может быть, господствующий индивидуализм, начинающееся общее преклонение перед личностью (ср. „культ героев“ у Карлейля) и т. п. являются не чем иным, как зарею нового, прерывного мирозерцания, хотя часто и в карикатурно-искаженной форме» [3, с. 164]. Намеченный в этой широкой, хотя еще и несколько импрессионистической форме еще в студенческие годы (цитируемый текст датирован 1903 г.), тезис о прерывности как основном принципе науки XX в. развивается и в последующих философских сочинениях Флоренского. Оттого, опережая на несколько десятилетий тенденции научного развития, Флоренский рано начинает настаивать на необходи-

мости развития дискретной математики. Несомненно гениальной догадкой Флоренского, делающей его одним из идейных предшественников последующей кибернетики, была связанная с развитием мысли о роли дискретной математики идея использования алгоритмов в теории «механизмов, передающих и преобразующих не большие количества энергии, а некоторые смысловые соотношения, знаки, сигналы» [29]. Идея моделирования математических задач на кибернетических устройствах, в то время относительно простых по техническому (электрическому) воплощению, была в одном случае им не только намечена, но и решена экспериментально еще в 1924 г. [30] и далее детально продумывалась вплоть до последней напечатанной при жизни статьи, прямо стоящей на пороге кибернетики: она была посвящена созданию физических устройств, обслуживающих математику [31]. При этом планировавшиеся Флоренским машины для преобразования знаков мыслились им как особого рода символические системы, т. е. он вполне отдавал себе отчет в их семиотической роли. Исследование значимости физических моделей для математики в этой более поздней работе было прямым развитием тезиса о роли механических моделей в статье о символическом описании. Принимая разделение более жесткой аксиоматизированной немецкой и французской науки и более свободно организованной английской, он определенно высказывался в пользу последней, поясняя свой вкус сравнением: английские сады ему ближе французских парков.

В работе о символическом описании вывод о том, что физика есть язык, Флоренский далее распространяет и на другие науки, отмечая, что объяснительное начало в них есть в той мере, в какой в них присутствует и физика (которую, в свою очередь, он ранее свел к описанию). В остальных науках Флоренский (как в наше время Рене Том, возродивший терминологию научных работ Гете), за вычетом объяснительного участия в них физики, не видит ничего, кроме «чистого описания, явного описания морфологии в самом широком смысле слова, если науку о строении чего бы то ни было, будь то звездные миры или мельчайшие организмы, назвать в широком смысле морфологией» [28, с. 94]. Напомним, что через несколько лет после публикации этой статьи Флоренского Пропп напишет свою «Морфологию сказки», в которой вдохновится все теми же принципами морфологии Гете.

Согласно выводам цитируемой статьи Флоренского, при возможности дальнейших классификационных уточнений «останется общее основаначало всех наук — именно то, неотделимое от существа их, что все суть описания действительности. А это значит: все они суть язык и только язык. Так мы подошли к острому афоризму аббата К он д и л ь я к а : „Une science n'est qu'une Langue bien faite — всякая наука есть лишь хорошо обработанный язык“, что в смягченном виде повторил и Дж. Ст. М и л л ь, заявив: „Язык есть каталог catalogue raisonné понятий всего человечества“» [28, с. 94].

По сути программа такого подхода к науке была намечена Флоренским гораздо раньше именно по отношению к науке о языке. Флоренский настаивал на символическом статусе лингвистической теории. Этим, в частности, Флоренский, как отмечалось выше, мотивировал особое отношение к этимологии, которое можно было бы назвать игровым.

Согласно общему плану книги «У водоразделов мысли», в ней за главой «Наука как символическое описание» в части «Мысль и язык» должен был следовать раздел «Диалектика. Антиномии языка». Если в цитируемой ранней книге [11] Флоренский сосредоточен еще на общем раскрытии по-

нения противоречия [11, с. 143—165] и упоминает идею антиномизма в лингвистике лишь как частный пример [11, с. 686], то в публикуемой главе из «У водоразделов мысли» он подробно разбирает противоположение языка как «вещности» — *ἔργον* и как деятельности — *ἐνέργεια*. Последний аспект Флоренский разбирает весьма детально, в связи с этим останавливаясь на сочинениях русских футуристов (упоминается и цитируется также и один из манифестов Маринетти). Хотя в этой работе примеры из футуристических сочинений рассматриваются лишь попутно, тем не менее на основании их анализа Флоренским можно составить представление о том, как он понимал крайние левые опыты авангарда в словесном искусстве, что интересно и для сопоставления с его отношением к авангарду в изобразительном искусстве.

Для сопоставления с семиотическими исследованиями последнего времени в работе Флоренского о языковых антиномиях заслуживает внимания также и заключительный раздел, посвященный опыту философского языка Я. Линдбаха. В относительно недавнее время этот последний послужил предметом тщательного лингвистического и семиотического анализа, предпринятого И. И. Ревзиным [32]. Когда Ревзин говорил, что работа Линдбаха осталась незамеченной, он не знал об исследовании П. А. Флоренского.

По плану книги «У водоразделов мысли» за главой об антиномиях языка должна была следовать глава «Термин». К ней примыкает отрывок лекции по спецкурсу «Из истории философской терминологии». По нему видно, насколько непосредственно связана друг с другом эта глава и прокомментированная выше глава о науке как символическом описании. В последней речь шла о науке как языке. Здесь же Флоренский уточняет собственно языковую сторону дела: «Всякая наука — система терминов... Не ищите в науке ничего кроме терминов, данных в их соотношениях» [9, с. 231—291]. В главе о термине Флоренский стремится показать, как в одном слове могут соединяться антиномичные полюсы языка (поэтому, очевидно, эта глава и должна была следовать за главой о языковых антиномиях, а не сразу за главой о символическом описании, которую она непосредственно продолжает). В качестве отдельного экскурса в главу входит и детальное этимологическое и историческое рассмотрение латинского слова *terminus* «термин». Основные его выводы вполне остаются в силе и по сей день, уточняясь благодаря открытию родственного хеттского глагола *tark-* «побеждать» и его производных.

Последней по плану в этой серии статей должна была быть работа о строении слова. Высказываемое в ней разграничение лингвистических уровней и соответствующих им единиц было намечено уже в книге «Столп и утверждение истины». В статье о строении слова особенно хорошо видно — и в подборе примеров из русской поэзии, в игровом подходе к этимологии — как собственные языковые игры Флоренского, носящие художественный характер, смыкаются с его раздумьями о слове и философии языка. От наукообразной формы первых своих статей Флоренский все дальше уходил в сторону такого синтетического и синкретического творчества, где религия, философия, наука и искусство выступают вместе, а язык служит одновременно и темой высказывания, и поэтическим орудием мысли. В этом именно отношении Флоренский поднимается над ограничениями своей среды и времени и показывает путь к новым и небывалым духовным вершинам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Флоренский П. А. Природа // Литературная Грузия. 1985. №№ 9, 10.
2. Демидов С. С. Из ранней истории Московской школы теории функций // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 124—130.
3. Флоренский П. А. Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент мироздания» / Публикация и примеч. Демидова С. С. и Паршина А. Н. // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 159—177.
4. Игумен Андроник (Трубачев). Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной академии // Московская Духовная академия. 300 лет (1685—1985). Богословские труды. Юбилейный сборник. М., 1986. С. 226—246.
5. Флоренский П. А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях // Декоративное искусство СССР. 1982. № 1. С. 25—29 / Предисл. акад. Лихачева Д. С.
6. Флоренский П. А. Собр. соч. I. Статьи по искусству / Под общ. ред. Струве Н. А. Р., 1985.
7. Florenskij Pavel. La prospettiva rovesciata e altri scritti / A cura di N. Misler. Roma, 1983.
8. Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. М., 1985 = Фототипическое переиздание: Florenskij P. A. Mnimosti v geometrii // Nachdruck nebst einer einführenden Studie von M. Hagemester, München, 1985).
9. Флоренский П. А. Из неоконченного труда «У водоразделов мысли» // Эстетические ценности в системе культуры. М., 1986. С. 113—132.
10. Стихи Павла Флоренского // День поэзии. '87. М., 1987. С. 212—213.
11. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914.
12. Watkins C. Latin sons // Studies in historical linguistics in honor of G. S. Lane. Chapel Hill, 1967. P. 186—194.
13. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. М., 1981.
14. Jakobson R. Selected writings. V. 2. The Hague — Paris, 1971.
15. Puhvel J. Comparative mythology. Baltimore — London, 1987.
16. Флоренский П. А. Строение слова // Контекст. 1972. М., 1973. С. 348—375.
17. Herdner A. Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétique. 4.4.41; 3.5.28; 3.5.10. Р., 1985.
18. Albright W. F. From the stone age to Christianity. Chicago, 1940. P. 282—284.
19. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 153.
20. Strindberg A. Språkvetenskaplige studier // Strindberg A. Samlade skrifter. V 52. Stockholm, 1920.
21. Аверинцев С. С. Комментарии к: Флоренский П. А. Строение слова // Контекст. 1972. М., 1973. С. 370.
22. Durante M. Sulla preistoria della tradizione poetica greca. Parte seconde: Risultanze della Comparazione indoeuropee // Incunabula graeca. V. LXV. Roma, 1976. P. 95, 103.
23. Флоренский П. А. «Не восхищение нищева» (Филип. 26—28) (К суждению о мистике) // Богословский вестник. 1915. №№ 7—8.
24. Slesinski R. Pavel Florensky's metaphysics of love. N.Y., 1984. P. 21—50.
25. Флоренский П. А. Symbolarium (Словарь символов) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1982. М., 1984. С. 100.
26. Флоренский П. А. О работах П. А. Флоренского // Труды по знаковым системам. V. Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. 1971. Вып. 284. С. 502.
27. Флоренский П. А. Земли; Измерение; Измерительные материалы; Изоляторы; Изоляционные электро-технические материалы // Техническая энциклопедия. Т. 8. М., 1929.
28. Флоренский П. А. Символическое описание // Феникс. М., 1922.
29. Флоренский П. А. Пифагоровы числа // Труды по знаковым системам. Т. V. Тарту, 1971. С. 512.
30. Флоренский П. А. Вычисление электрического градиента на витках обмотки трансформатора (Применение интегральных уравнений к некоторым вопросам электростатики и прием решений некоторых интегральных уравнений // Бюллетень Технического отдела Главэлектро. Серия IV. М., 1921 (отпечатано шаширографом).
31. Флоренский П. А. Физика на службе математики // СОРЕНА. 1932. № 4.
32. Реввин И. И. Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. М., 1977. С. 41—43.